

М. Е. Салтыков-Щедрин

Письма о провинции

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84
С16

Салтыков-Щедрин М.Е.
С16 Письма о провинции / М. Е. Салтыков-Щедрин – М.: Книга по Требованию, 2012. – 164 с.

ISBN 978-5-4241-1668-1

Писатель, классик русской литературы, автор хлестких по тем временам сатирических произведений. Настоящая фамилия Салтыков; псевдоним Н. Щедрин. Произведения: «Помпадуры и помпадурши», «Письма о провинции», «Признаки времени», «Господа ташкентцы», «Благонамеренные речи», «В среде умеренности и аккуратности», «Убежище Монрепо», «Письма к тетеньке», «Господа Головлевы», «Современная идиллия», «Пошехонская старина», «История одного города», «Медведь на воеводстве», «Премудрый пискарь», «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» и др.

Скончался М.Е. Салтыков-Щедрин 28 апреля 1889 г., похоронен в Санкт-Петербурге на Литераторских мостках Волковского кладбища.

ISBN 978-5-4241-1668-1

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2012

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2012

ПИСЬМА О ПРОВИНЦИИ

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

С некоторого времени жизнь в провинции изменяется. Мало-помалу в эту жизнь входят новые элементы, которые захватывают более значительную массу деятелей. Образуются зачатки жизни умственной, и хотя еще далеко до самостоятельности, но, по крайней мере, нет того повального бездельничества, которое, в буквальном смысле слова, сокрушало провинциальное общество лет двенадцать — тринадцать тому назад.

Даже центры деятельности сдвинулись с прежних гнезд, а вместе с тем изменились и роли самих деятелей. Деятельность органическая видимо отдалается от старых центров и скромно приурочивается к новым. Советники разных палат и управлений, конечно, еще существуют, но прежде они ходили окруженные светозарным облаком, теперь же путешествуют по административным пажитям большею частью инкогнито и в значительно сокращенном виде.

Как и водится, такое перемещение деятельных центров производит немалый переполох и в самых деятелях. В одних оно возбуждает зависть и худо скрываемую досаду, в других — чувство робкой недоверчивости, смешанное с некоторым удивлением. На одной стороне сцены стоят люди, которые издревле привыкли понимать себя прирожденными историографами России и жидителями ее судеб, на другой стороне — люди новые, которых девизом еще так недавно была знаменитая поговорка: «Изба моя с краю, ничего не знаю». Середку (хор) занимают так называемые фофаны, то есть вымирающие остатки эпохи богатырей. Понятно, с каким чувством смотрят исконные историографы на пришельцев, которые отныне обязываются разделять их труды по части сочинения русской истории.

С призывом новых сочинителей на поприще русской истории старые историографы чувствуют себя неловко. Во-первых, им стыдно, что история, которую они до сих пор сочиняли, имеет несомненное сходство с яичницей; во-вторых, они боятся, что пришельцы, пожалуй, догадаются, что это не история, а яичница, и вследствие того не выдадут им квитанции; в-третьих, им сдается, что пришельцы наступают им на ноги, и хотя говорят: «pardon», но с заметною в голосе иронией; в-четвертых, они чувствуют, что им нечего делать, что праздного времени остается пропасть, а девать его решительно некуда. Поэтому истинный историограф с раннего утра мучится подозрениями и беспокоится мыслью, как бы ему на кого-нибудь так наехать, чтоб от наезда этого гром прокатился от одного конца вселенной до другого, и чтобы разумели языцы, что зубосокрушающая сила отнюдь еще не упразднилась.

Сдается, однако, что опасения старых историографов чересчур преувеличены и происходят оттого, что последние, погрузившись исключительно в сочинение русской истории, недостаточно обогатили свой ум знакомством с политической экономией. Если б этот пробел в их воспитании был пополнен, они поняли бы, что первое условие успешности всякого труда есть его разделение и что появление на сцену новых сочинителей по части русской истории представляет собой не что иное, как ближайшее последствие этого условия. Чтобы изготавить надлежащую яичницу, необходимо, во-первых, затопить печь, во-вторых, вычи-

стить сковороду, в-третьих, выбрать и выпустить яйца и т. д. Каждая из этих операций требует особого специалиста, ибо, ежели выпускать яйца примется истопник, то он легко может помять желтки. Следовательно, стряпать яичницу силами совокупными не токмо не предосудительно, но даже приятно. Работа на людях идет спорее и веселее; истопник подстрекает судомойку, судомойка поощряет повара; поют песни, перебрасываются невинными шутками, а яичница между тем поспеваает да поспеваает. Не ясно ли, что такого рода зрелище ничего, кроме отрад, возбуждать не должно?

И действительно, наплыв пришельцев отнюдь не означает ни злоумышления, ни посягательства, а есть просто следствие признания принципа разделения труда. Внешние формы труда бесспорно видоизменились, но сущность его осталась столь же обильно разного рода случайностями, как и в то время, когда еще не было истории, а был мрак времен. Конечно, тут, кроме сущности труда, может возникнуть еще вопрос о том, кому-то придется съесть устроенную общими силами яичницу, но, по мнению людей благомыслящих, такого рода вопрос, по малой мере, преждевременен. Подобное забеганье вперед может самого кипучего деятеля заставить опустить руки, может тлетворно подействовать на успех дела самого несомненного. Политическая мудрость всех веков и народов убеждает, что цели ближайшие и непосредственные суть, в то же время, и наиболее желанные, а как в настоящем случае ближайшую цель составляет производство яичницы, а не потребление ее, то примемся за это дело вкупе и не будем раздражать нашу мысль опасениями будущего. Ибо съест яичницу, наверное, тот, кому съесть ее надлежит.

Мысль об отдавливанье ног, об ироническом выраженье ртов и носов есть именно порождение подобных бесполезных забеганий вперед. Всякий согласится, что не изобретено еще тех чувствительных весов, с помощью которых можно было бы взвесить вещь столь неуловимую, как выражение лица. Можно даже утверждать, что самое представление о том или другом выражении лица есть представление почти субъективное. Вы раздражены, ваша мысль напугана неизвестностью будущего, и вот вам кажется, что все носы иронизируют, что все ноги направлены к тому, чтоб злоумышлять против ваших мозолей. Но успокойтесь на минуту, оторвите вашу мысль от сомнительного будущего, и вы убедитесь, что глаза ваши лжесвидетельствовали, что уши были с ними заодно в заговоре, чтоб отравить ваше душевное спокойствие. Бесчисленные свидетельства людей опытных и компетентных удостоят вас, что в провинциях наших могут быть выражения лиц почтительные, беспечно-преданные, исполнительные, на все готовые, но выражений иронических нет и никогда не бывало. Этого мало: в провинции даже положение человеческого тела невольным образом принимает характер устремительный, но никак не упирающийся или угрожающий — ежели этих свидетельств недостаточно?

Несколько более основательными кажутся опасения насчет сокращения способов умерщвлять избыток праздного времени. Опасения эти возникли еще в то время, когда возбужден был вопрос о сокращении переписки. Уже тогда многим казалось, что власть значительно потрясется, ежели, вместо «имено честь покорнейше просить», будут писать просто: «прошу», а вместо: «о последующем прошу не оставить уведомлением» — «прошу уведомить». Ожидали, что экономия труда произведет праздность, праздность породит неуважение, неуважение

— бунт. Впоследствии к этим ожиданиям присоединились соображения еще более веские. Припомнили, что время каждого деятеля распределяется с такою точностью, что всякое нарушение однажды заведенного порядка не может не произвести в организме законного беспокойства. Если приобретена привычка в известный час дня строчить, в другой распекать и т. д., то нельзя себе представить, какая истома овладевает человеком при наступлении урочного часа. Вот-вот, кажется, так бы и истрочил насквозь всю природу, и вдруг — о, ужас! — в ту самую минуту, когда все фибры ваши натянуты, когда длани ваши уже простерты, вам докладывают, что все уже выстрочено и перестрочено... Чтов тут делать? чтов предпринять?

Нельзя не согласиться, что эти опасения и вопросы далеко не безосновательны. Время — это издревле страшнейший наш враг. Мы неустанно боремся с ним, мы употребляем и коварство и хитрость, чтобы восторжествовать над этим призраком, всегда стоящим перед нами, и постоянно изнемогаем в неравной борьбе. У нас положительно нет ресурсов, и если мы всегда довольно охотно беремся за всякую профессию, то единственно потому, что с профессией этой в уме нашем соединяется понятие совсем не о деле, а о властном положении в обществе, о безответственности и произволе. Все условия нашего прошлого были так направлены, чтобы сделать из нас самолюбивых тунеядцев и развить в нас одну страсть — страсть к существованию на чужой счет. Понятно, какого рода идеалы при подобных условиях жизни могли обольщать наши умы и какое озлобленное негодование должно закипать в наших сердцах, когда обстоятельства напоминают, что время даровых утех миновалось и что ежели мы желаем продолжать жить, то обязываемся устроить нашу деятельность на иных основаниях.

Как бы то ни было, в провинциальной жизни чувствуется разлад, но разлад, так сказать, односторонний. Собственно, нападает и раздорствует только одна сторона — историографы; другая сторона даже не обороняется, а только молится богу, чтобы об ней на время забыли. Это время ей нужно, чтобы доказать, что она невинна.

Известно, что Россия с древнейших времен периодически подвергается действию различного рода пионеров, которые обрабатывают ее всесторонне и с старательностью, заслуживающею величайшей похвалы. Но безызвестно также, что пионеры всех стран и времен встречали и встречают прием неприветливый. Во-первых, не всякому лестно, что его вот-вот сейчас начнут обрабатывать; во-вторых, пионеры почти всегда являются на сцену снабженные прекраснейшими окладами, на которые очень многие заглядываются. Уж на чтов благонамеренными пионерами явили себя акцизные чиновники, а какого переполоха наделало их появление! «Нигилисты!» — кричали одни; «коммунисты!» — кричали другие, и нужно было целую массу нечеловеческих усилий, чтоб доказать вселенной, что это совсем не нигилисты, а такие же историографы и столпы, как и все прочие. Точно такой же факт совершился на наших глазах с пионерами контрольными: их до тех пор упрекали в тайных наклонностях к конституционализму, пока они добрым своим поведением победоносно не доказали, что за ними не только к конституционализму, но и к счетоводству наклонностей никаких не водится.

Но пионеры следуют за пионерами с быстротою изумительною, и быстрота

эта так вредно действует на ясность понятий, что решительно не знаешь, кого в данную минуту называть пионером, а кого столпом. Те люди, которые еще вчера в глазах всех казались завзятыми пионерами, сегодня именуют уже себя столпами и ниоткуда не встречают на это возражения. В настоящую минуту, сколько можно понять, пионеры самые свежие — это земство и новый суд.

Велико было озлобление против акцизников и контрольных, но невозможно решив, какие оно приняло размеры и до какой дошло ядовитости относительно людей суда и земства. В виду этих новых пришельцев, историографы становятся в каре и показывают решимость бодаться; они забывают взаимные междуисториографские раздоры и подают друг другу руку примирения; околоточные торжественно лобызуют акцизников и очищают единство кассы от обвинений в либерализме и конституционализме. И все для того только, чтобы противопоставить новому врагу армию сильную, способную поразить его на всех пунктах.

Способы действия историографов известны достаточно; это — отчасти лганье, отчасти клевета. Лгут историографы простодушные, клеветуют — злоумышленные; первые были бы подчас даже забавны, если бы, в большинстве случаев, не служили вредным орудием в руках последних.

Можно себе представить, какую богатую пищу представили для этих скудных умов новые судебные и земские учреждения!

Прежде всего их поражает перемена внешних форм обращения. Завелось какое-то «вы», какое-то неслыханное сажание на стул — все это признаки революции. Не то что прежние орлы — налетят, бывало: «А ну, растакие-то дети! распоясывайтесь!» Потом поражает преданность делу (несколько, впрочем, кропотливая), не позволяющая мешать его с бездельем, — опять признак революции, ибо издревле замечено, что человек необщежительный, человек, не принимающий участия в провинциальных *folles journées*,¹ непременно должен быть человеком неблагонамеренным и злоумышляющим. В-третьих, поражает скромность образа жизни — новый признак революции, ибо опыт доказывает, что в обществах благоустроенных и богобоязненных сановники должны быть представительные и прикармливать около себя толпу губернских дармоедов. В-четвертых, поражает известная доля начитанности и образованности; в-пятых...

Но нужно ли высчитывать все так называемые признаки революции, которые заставляют бледнеть и трепетать архистратигов нашего болотного воинства? В сущности, они столько же понимают значение слова «революция», как и та простодушная дама, которая уверяла, что революцию развозят по деревням разносчики; но историографы злоумышленные цепко хватаются за хлесткое словечко и действуют неукоснительно, чтобы популяризировать его обращение между историографами простодушными. И начинается тут то неслыханное лганье, которое могут выносить только крепкие обывательские натуры.

У какого-нибудь болотного чибиса пропали старые портянки, а он уже поведствует, что в этих портянках спрятана была тысяча рублей и женины приданные ложки.

— И представьте себе, хоть бы вор не сознался! — ораторствует чибис в порыве сочинительства, — сознался, сударь, и пойман и уличен! да нигилисты-то, голубчики-то наши... Как же, мол, это так — ведь вор-то, чай, свой брат... ну, и отпустили! ступай, мол, голубчик, воровать на все четыре стороны!

— Слышали? слышали? — стоном стонет, проснувшись, болото.

— Нет, вы мне вот что скажите: с которых это пор завелось у нас равенство? — вопиет другой чибис, — прихожу я давеча к «нашему», только вижу, и Фенька моя тут! — Ну-с, спрашиваю, чтов угодно вашему высокородию? — А вот, говорит, сейчас будет разбираться ваше дело с крестьянской девицей Федосьей Павловной (это с Фенькой-то!). — Слушаю-с, говорю (рассказчик, произнося это, иронически шаркает ножкой). Только началось у нас это разбирательство; я — слово, Фенька два, я слово — Фенька так и сыплет! Не вытерпел: «Прикажите, говорю, замолчать этой паскуде!» Чтов ж бы вы думали, он-то? «Во-первых, говорит, Федосья Павловна имеет такое же право объяснять свое дело, как и вы, а во-вторых, за то, что вы ее в присутствии моем оскорбили (это Феньку-то!), штрафую, говорит, вас тремя рублями». Хороша штучка-с?

Историй в этом роде не оберешься, ибо чибисы зорко наблюдают за каждым шагом пришельцев и каждое их действие подвергают немедленному оболганию. Но из тьмы всякого рода неблиц и нелепых претензий ярче других выступает вперед претензия на так называемое бездействие власти, на то, что подсудимых не бьют по скулам и не гибнут в бараний рог. Припоминаются тут всякие лихие исправники и неслыханных размеров городничие. Повествуется, как некоторый Порфир Порфирыч того-то засек, тому-то ребра переломал, того-то на всю жизнь оглушил.

— У этого, брат, запоеш! — восторженно вопиют разом все кулики, — этому, брат, того насажешь, чего никогда и не бывало! Уж это так.

Злоумышленные историографы с удовольствием прислушиваются к этому повальному лганью и от времени до времени подогревают его изобретениями своей фабрики. Это тем для них легче, что жизнь действительно представляет факты, по наружности подкрепляющие эти изобретения. В мире не без воровства, не без грабежей и не без убийств, в мире не без скверных дорог и неисправных переправ, — все это такие житейские невзгоды, которые бывали, бывают и будут во все времена. Но в былое время невзгоды эти утопали в бездне безмолвия и безответственности и потому не поражали, не возбуждали ничьих протестов. Нет сомнения, что в былое время кара настигала преступника еще реже, нежели нынче, но так как суд и расправа были, так сказать, делом домашним, то следственные неудачи и судебная безнаказанность не порождали ни толков, ни негодований. Теперь дело иное. Теперь суд есть нечто для всех осязаемое; теперь — это общее достояние, на которое устремлены все взоры. И столпы с большою ловкостью воспользовались этим обстоятельством, чтобы сделать из него злонамеренное орудие. Попробуйте-ка не уличить, не поймать, не открыть во чтов бы то ни стало, попробуйте ошибиться, увлечься, упустить из вида подробность — и вы увидите, какой вдруг гвалт поднимут столпы, и как, следом за ними, застонут и захлопают крыльями простодушные кулики!

— Нет, это так не делается! ça ne se fait pas ainsi! — вопиет, сверкая глазами, какой-нибудь столп, пользующийся между куликами особенным авторитетом.

— Возьмите, однако, в соображение...

— Да нет, поймите меня, так не делается! — долбит столп и тут же, обращаясь к толпящимся вокруг него чибисам, прибавляет, — я уверен, что будь это дело в руках моих прежних... моих верных!! — уж давно было бы все раскрыто!

Этого достаточно, чтобы поддать масла в огонь, которым пламенеют сердца куликов. Опять выступают на сцену Порфиры-реброломатели, Кузьмы-оглуши-

тели, Фомы-зубокрушители, а «революция», словно живая, так и смотрит в глаза каждому чибису, как будто говорит: а вот я тебя сейчас на сковороду да в печку!

Вот какого рода разлад существует в современном провинциальном обществе и какого рода непрерывным шиканствам подвергается там пионерное ремесло. Чтов же за люди эти пионеры и в чем состоит их вина перед историографами?

В самом начале настоящего письма выражена мысль, что жизнь в провинции изменяется к лучшему. Несмотря на то что многое в дальнейшем изложении условий этой жизни как будто противоречит этому заверению, оно все-таки остается в своей силе. К чести новых пришельцев нужно сказать, что, ежели в современную провинциальную жизнь начинают вторгаться умственные интересы, то этим она обязана исключительно им.

Путник, случайно забравшийся в современную провинцию, не рискует уже, как в бывалые времена, заблудиться в ней, как в дремучем лесу, или очутиться в положении Робинзона на необитаемом острове. Конечно, нельзя утверждать, чтобы карты и доселе не играли преимущественной роли в жизни провинциала, но это почти единственный обломок древней славы, уцелевший на развалинах прежнего развеселого житья. Уж одно то, что прежде постоянно кого-нибудь гденыбудь заушали, что прежде вы не могли сделать шагу, не рискуя услышать: «Батюшки! не буду!», что мысль об этом повальном заушении не могла не терзать существования честного человека и что теперь честный человек несравненно реже подвергается подобного рода опасению, — уж одно это представляет такую отраду, которую взвесить и достойно оценить могут только люди, бывшие непосредственными зрителями старинного столпотворения. Метаморфоза, которая произошла на наших глазах, поистине заслуживает удивления; вы видите мастодонтов, которые еще на вашей памяти били в ярости копытами землю, которые ревом своим заставляли содрогаться природу, которые без малейших усилий обращали в прах человеческие челюсти, — и что ж? теперь эти самые мастодонты удивляют мир своим кротким поведением и все свое ехидство ограничивают невинным судачением по части судебных и земских учреждений. Отчего эта метаморфоза? Отчего это превращение яростных остатков допотопной формации в безвредных и ошипанных куликов? А все оттого, милостивые государи, что явились новые люди с прекраснейшими манерами и убедили вселенную, что сквернословие отнюдь не составляет фаталистической принадлежности русской речи. Дав, нельзя не согласиться, что пришельцы оказались изрядными насадителями грациозных манер и изящного обращения! Ни один танцмейстер, при самых упорных усилиях, конечно, никогда не мог достигнуть таких результатов, каких они достигли в самое короткое время и почти без усилий.

Сверх того, рядом с картами, в провинции уже зарождается потребность чтения и даже потребность мышления. Конечно, опытнейшие историографы и теперь утверждают, что мышление во все времена представляло, так сказать, оппозицию исполнительности, а следовательно, и благоустройству; но позволительно думать, что если однажды нас уже посетила потребность рассуждать, то лучше искренно примириться с этим прискорбным фактом, нежели подкапываться под него. Это примирение даст нам, по крайней мере, возможность направить факт по усмотрению, тогда как вражда непременно оставит нас с носом.

В этом отношении пришельцы представляют клад бесценный, не требующий

даже направления. Мысли у них не только благонамеренные, но, так сказать, очищенные. Как люди милые и образованные, они, конечно, не могут временами не озабочиваться известиями об успехах или неудачах Гарибальди, но не подлежит сомнению, что прения такого рода занимают в их беседах место весьма ограниченное. У них так много своего насущного дела, и притом их до такой степени поглощает забота о том, как бы послужить, услужить и заслужить, что, в виду этих капитальных интересов, невольно ступшевывается даже вопрос об исправлении французской границы на Рейне.

И действительно, в настоящее время мы присутствуем при такого рода внутренней работе, что нас должен более занимать вопрос об иных поглощениях, нежели о поглощении Пруссией маленьких государств Германии. Щук развелось в провинции так много, и притом с таким циническим желанием глотать, глотать и глотать, что даже вчуже становится как-то не по себе. Известно, что щука, во время жора, глотает что ни попало, заглатывает даже собственных щурят, эту надежду и цвет всего щучьего рода, — мудрено ли, что прочие рыбы, плавающие в этой мелкой и пресной воде, заслышав приближение ужасного хищника, мгновенно прекращают невинные забавы и устремляются к своим норам?

Итак, пришлец благонамерен, учтив, прилежен, кроток, занятлив, почтителен и послушлив. Он даже не огрызается, когда на него нападают, хотя нападения эти бывают нередко свойства довольно цинического. Сверх того, он читает книжки, а относительно исполнения того, что называется долгом, не имеет себе равного. Это просто лев. Казалось бы, что при виде такого соединения драгоценнейших качеств щука самая прожорливая должна бы с доверием повторять стихи Пушкина:

В надежде славы и добра,
Идем вперед мы без боязни...
А выходит совсем напротив...

Не ясно ли теперь, что разлад, замечаемый в провинциальном обществе, есть разлад односторонний; что он возбуждается и питается исключительно историографами, которые, без всякой надобности, волнуют провинциальное общество своими личными тревогами и опасениями, и что на долю пришельцев досталась в этой распре роль, хотя и симпатичная, но далеко не выгодная в стратегическом смысле? Не ясно ли также, что самая эта распря имеет поразительное сходство с столь знакомым и столь любезным нашему сердцу делом о пререканиях, на обложке которого читалась крупноначертанная надпись: «Сие дело есть дело о выведенном яйце»?

Но письмо о провинциальном житье будет далеко не полно, если не упомянуть в нем о нашем beau sexe.² Прежде всего должно отдать полную справедливость нашим дамам, в том смысле, что вопрос об эманципации женщин, о женском труде и проч. трогает их в самой умеренной степени. В этом отношении они представляют оплот, и притом весьма благонадежный. Существует по этому поводу даже очень трогательный анекдот. Рассказывают, что когда одна юная дамочка от лица всех женщин заявила однажды претензию на фельдмаршальский жезл, то присутствовавший при этом предводитель в упор спросил ее: «Ну, а родить кто будет?» Этого простодушного вопроса было достаточно, чтобы покончить с вопросом о женском труде и чтобы дамы, даже судейские, сделались в поступках своих осмотрительнее и принялись родить пуше прежнего. Тем не

менее разлад, огорчающий мужское провинциальное общество, не мог не отразиться и на дамском. Не только жены и сестры, но даже племянницы охотно принимают участие в турнире и этим участием несколько смягчают слишком суровые тоны распри. Но сия последняя и тут поражает своим неравенством. Тогда как жены историографов отличаются неслыханным великолепием одежд, необычайными размерами шлейфов и белизною и округлостью бюстов, жены пришельцев, напротив, представляются слегка ошипанными и даже как бы не совсем кормленными. Посему, когда эти два полка стоят друг против друга в безмолвии, то симпатии проходящих невольно склоняются на сторону историографов.

Кажется, что при подругах голодных и мысли должны быть голодные; напротив того, при подругах сытых и мысли непременно должны быть сытые. Но когда печать безмолвия упадет, когда голодные и сытые начинают чувствовать потребность провещевать, то симпатии изменяют характер и обращаются от последних к первым. Сколько сытые блистают телами и шлейфами, столько голодные пленяют основательностью и либеральною умеренностью своих суждений. Тогда как первые беседуют о различии любви и дружбы и о других предметах, решительно не приносящих никакой пользы для отечества, последние повествуют о гражданской честности и непреборимой верности. Случается даже слышать весьма удачные суждения по следственной части и по части судебных ошибок, и любопытно видеть, как пламенеют, внимая этим речам, юнейшие из пришельцев мужского пола, и как исчезает в их глазах весь суетный мир с его бюстами и шлейфами, в виду одного ни с чем не сравнимого блаженства... в виду судейской ошибки!

Но еще любопытнее, что и сытые по временам выходят из рамки невинных размышлений о дружбе и любви и выступают на скользкую арену судейских ошибок. Вот тогда-то, собственно, и начинается так называемый турнир.

— Мы всё с своей стороны сделали! — кричат жены, дочери и племянницы историографов, — мы открыли следы, мы указали виновных... Уж если и после этого...

Сытые с презрением пожимают полными и белыми плечами.

— Подите! — не менее крикливо возражает женский штат пришельцев, — сейчас видно, что вы не читали дело Лезюрка!

— Какого Лезюрка? Какого такого Лезюрка? — наивно вопрошают полногрудые, сытые и белотельные.

Голодные язвительно хохочут и, как некогда раскольники, восклицая: «посрамихом! посрамихом!» — торжествуют победу.

Увы! они забывают, что возглас «посрамихом!» не помешал раскольникам и до сих пор называться раскольниками...

И действительно, как ни грустно, а приходится сознаться, что шармы телесные решительно подавляют и, вероятно, долго еще будут подавлять шармы умственные. Оттого ли, что мы, провинциалы, не умеем еще относиться как следует к нетленным красотам ума и сердца, или оттого, что в самых сих красотах скрывается некоторый изъян, — как бы то ни было, но взоры наши не в пример охотнее обращаются в ту сторону, где блестит тленная красота. Да и самое начальство наше как будто преимущественнее туда заглядывается... Да и в самом деле, женщина, которая не сияет брильянтами, женщина, которая не декольтиро-